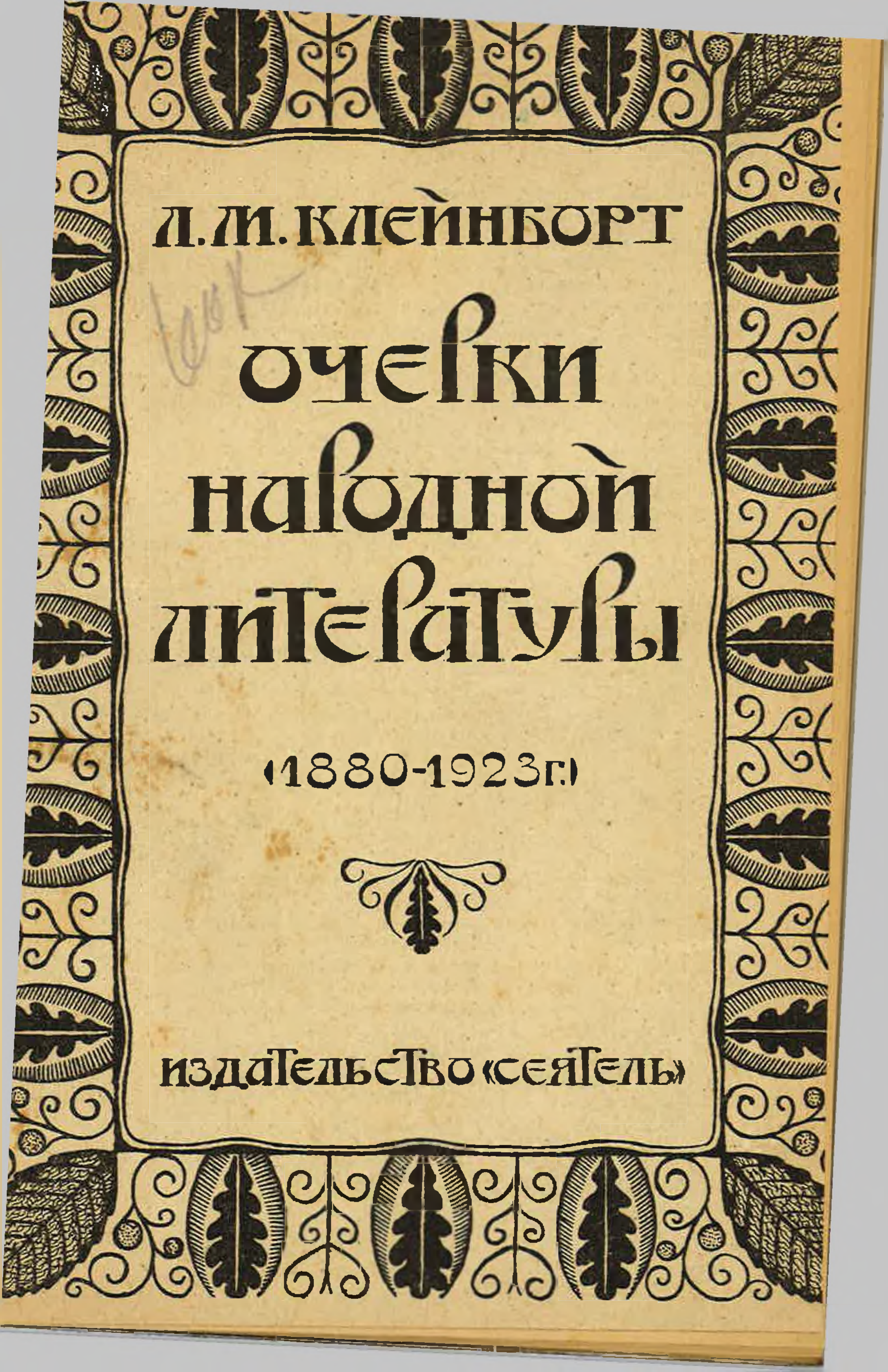

Л. М. КЛЕЙНБОРТ
ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(1880-1923 г.)
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕЯТЕЛЬ»

Л. М. Клейнборт

ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(1880—1923 г.г.).

Беллетристы.

Факты, наблюдения, характеристики.



ЛЕНИНГРАД.
1924.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ГЛАВА III.

Сивачевщина.

Мих. Сивачев, Пимен Карпов, Надежда Санжарь.

I.

Троим посчастливилось стать об'ектом шумных толков: безработному пролетарию М. Сивачеву, «крестьянину-хлеборобу» Пимену Карпову и «дочери народа» Надежде Санжарь.

Сивачев в 1911 году рассказал историю пролетария, стремящегося в ряды интеллигенции. «Прокрустово ложе»—это ложе писателя, вышедшего из низин и пытающегося устроиться в буржуазном мире. Пимен Карпов—двумя годами позднее—дал картину «жизни и веры хлеборобов», как сказано в подзаголовке его романа. «Кровь», «пламень крови» всюду и везде, и назывался его роман «Пламень». Еще до «Прокрустова ложа»—в 1909 году—вышли его страницы о народе и интеллигенции («Говор зорь»). Появились в 1910 году и «Записки Анны» Санжарь. Это был материал, «прописанный на боках» женщины, прошедшей все мытарства труда—от горничной с мытьем полов до модной мастерской.

Эти книги и вызвали неспокойный обмен мнений.

Прочтя «Прокрустово ложе», Л. Толстой говорил своему секретарю Булгакову: «Очень интересная книга, я бы вам посоветовал посмотреть». Карпову Толстой писал: «Книга ваша мне понравилась своей смелостью мысли и ее выражения. Для того, чтобы высказать горькие истины «образованным», нужно в наше время гораздо больше смелости, чем для того, чтобы высказывать их правительству»[1]). И редкий критик, редкий публицист не отозвался на эту тему: и Ал. Блок, и Иванов-Разумник, и Антон Крайний, и Измайлов, и Белоруссов, и Чуковский, и т. д. Точно что-то ударило всех по больному месту.

В чем же нерв этих книг, точно по уговору заговоривших об одном и том же? Каждая из них закатывает «пощечину» культуре. Да, Сивачевы стучатся в двери культуры,—уже проснулась в них жажда духовной жизни; они хотят творить, мыслить, жить человеческой жизнью... Но вместо хлеба культура дает им камень. И вот культура кажется им «маленькой, черненькой, востренькой, как смертный грех».

---

[1]) «Письма Л. Н. Толстого». Т. II. (Собрание П. А. Сергеенко), стр. 265.

Ведь несет кто-то ответственность за самый характер культуры? Эта-то ответственность мозолить им глаза. И вот их ненависть. Люто, непреоборимо ненавидят они тех, кто несет на себе эту ответственность за культуру...

Но ответственна «интеллигенция». Значит, это она ожесточила Сивачевых, бросила умирать их при дороге...

II.

Это не произведения в обычном смысле слова: в них также много правды, как мало «выдумки». Это бесхитростный рассказ...

«Прокрустово ложе»—рассказ о том, как истекало кровью сердце рабочего, потерявшего трудоспособность, инстинктивно тянувшегося вверх, в мир литературы. Автобиографический характер «Записок Анны» устанавливает их издатель. «Пламень» написан в виде романа, но сам автор комментировал свое произведение так: «Все, что здесь от русского сердца, я пережил лично». Таким образом, перед нами—документы в их чистом и характерном виде. Но в этом-то и сила их.

Ницше сказал где-то, что произведение тем ценнее, чем более написано кровью. Но писать кровью значит писать о том, что на всю жизнь оставило кровавый след в душе. Ведь ни один психолог не может заглянуть в чужую душу так, как это в состоянии сделать она сама. В душе каждого есть нечто, что превышает чужое понимание. Мы сами проникаем в него ощупью. «Человеческий документ» и срывает эту завесу. Рассказывая о себе самое важное и дорогое, автор доходит до сердца, и едва ли кому придет в голову разбирать такое произведение по правилам мастерства. Хорошо, разумеется, ежели рассказчик одарен талантом; но талант в литературе документов не главное. Можно не быть талантом, но обладать содержанием значительным, трагичным. Ежели таковое на лицо, мы простим ему все недочеты; ведь смысл документа в его подлинности.

Вопрос лишь в том, правдив ли он. Нет ничего вреднее лжи в таких записках, лжи перед собой, когда человек щадит себя, но не щадит других.

Делать признание нелегко. Ведь лишь после ряда переживаний человек начинает разбираться не только в окружающих, но и в самом себе. Говорить правду себе о себе, о своем жизненном опыте—свойство реже встречающееся, чем мы думаем. Но в том-то и сила наших авторов, что искренность их не подле-

жит сомнению. То, что рассказано ими, правда, правда их страшной, жестокой жизни, в тисках которой они пробивались к свету.

И «Прокрустово ложе», и «Пламень», и «Записки Анны»— крик сердца, типичный для тех дней. Таких уже тогда были тысячи. До искусства ли им? Тут сам голод, физический и духовный, сама исстрадавшаяся душа стонет, изнемогает, проклинает своими горькими устами. Вот, чем оправданы эти книги: не верностью художественного обобщения, но правдой вложенного в них человеческого страдания.

В этой истории исканий житейских и литературных,—об‘ективно говоря,—мало «истории», но много преувеличений. Но так отразилась культура в душе полураздавленного самоучки,—вот, что заставляет с собой считаться.

III.

Нельзя не вспомнить отличительной черты момента.

Это был момент «Вех», о котором «Народная Семья»—орган московских писателей из народа—писала: «Теперь, когда мы, дети народа, начинаем создавать исторические явления, прикладывать ко всему свой критерий, роль интеллигенции выясняется с довольно-таки нелестной стороны. «Федька великодушный, прости меня» — взывали когда-то Темкины, но Федька не понимал этого. Теперь Федька понял, взвесил и потянулся к интеллигенции. Но интеллигенция отвечает: мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры».

Уход интеллигенции с боевых позиций—вот черта момента. Когда-то каялся дворянин,—создался даже термин: «кающиеся дворяне». Теперь каялся интеллигент, и литература отражала его, с общественным подвигом не впереди, а позади, желающего пожить не во имя народа, а для личной жизни, «честности особой». Этот сдвиг отразили В. Ропшин в своем «Коне бледном», Р. Григорьев в романе «На ущербе» и многие другие. Но в то время, когда в интеллигенции многое отходило в прошлое безвозвратно с тем, чтобы не воскреснуть вновь,—в это время нарождался тот мыслящий пролетарий, к которому так долго и так тщетно взывал интеллигент. Отсюда рознь интеллигенции и низов.

Теперь били в глаза исторические условия, сделавшие интеллигенцию *эмоционально* другой, чем людей физического труда.

И вы видите эту рознь и в среде партийной, революционной общественности. Пока речь идет об идеях, о принципах, социальные грани почти не дают себя знать. Интеллигент остается близким. Но как только выступает эмоциональная, волевая жизнь, лежащая где-то ниже партийного сознания, тотчас вырастает стена, глухая стена непонимания. Это хорошо схвачено в романе Григорьева, Идет спор о политике, и слова никого не задевают. Но вот в спор вплетается мелочь, и разночувствие рабочего и интеллигента, рознь подсознательных влечений на лицо.

Психологическая рознь дала себя знать впервые в годы пятилетия, наступившего после 1905 года. Рабочие, крестьяне хотели не только политического, но и психологического равенства, не понимая, что интеллигенция не может быть иной, чем она есть. И росло интеллигентоедство. «Много вы притворяетесь, когда к нам приходите»,—говорили теперь Ѳедьки, а вместе с ними три книги, обнаженно, без соблюдения каких-либо приличий, направленные против интеллигентов.

IV.

Шум, поднятый около авторов, был шум отрицания. Лишь Белоруссов, В. Фриче и Е. Синегуб сумели отвлечься от тех чувств, которые их обвинения вызывали в интеллигенции, войти в чувства и мысли тех, по которым прокатилось суровое колесо жизни. Остальные, сознавая зловещий смысл этих обличений, ответили отчуждением.

— Для меня удивительно,—писал К. Чуковский,—как господа Сивачевы еще ни разу из нас никого не прибили «за подлость». Ненавидят они нас до боли. «Эгоизм, цинизм, авантюра, афера и груда всевозможных гнусных и преступных замыслов преобладает в вашей среде», — пишет мне один мастеровой. — И Чуковский «торопится» прибавить, что... «он прав совершенно». Вообще, «Сивачевы во множестве, Сивачевы, как масса — превосходны, лучшие люди в России». Однако, «сам по себе Сивачев—скверная и злая душонка» [1]). Измайлов не хотел «бить» Сивачева: автор «Прокрустова ложа» — «лежачий, воистину несчастный человек, больной, истерзанный хроническим ревматизмом, чуть не лишенный владения руками». Однако, книгу Сивачева он назвал «книгой злой и темной неблагодарности». «Отвратительные злые слова срывались у него по адресу тех, кто имел неосторожность всего

---

[1]) «Речь», 1911 г., № 279.

более пригреть его. А нет ничего чернее неблагодарности» [1]). Зинаида Гиппиус писала о Сивачеве: «Мы, читатели, не только не обязаны, но определенно не хотели ни «потрясаться», ни «содрогаться» от плохих книг, хотя бы эти книги были о жизни»; скверная книга, претендующая одновременно и на действительность, и на художественное творчество, да еще кричащая о нашей ненормальности,—«такая книга по справедливости может только возмутить» [2]).

Не меньше досталось П. Карпову. «Все сильнее и сильнее охватывает желание,—писал А. Ожигов—бросить куда-нибудь дальше эту кощунственную книгу» [3]), «швырнуть в угол» (Д. Философов). «Она показывает, до какого бреда способен дойти выходец из народа, прививая к своей подлинной святой ненависти яд городской, полу-литературной культуры модернизма» [4]). Таланты из народа,—по словам Иванова-Разумника— всегда пробивали себе дорогу в литературе, «а эти полударовитые, полу-бездарные труженики терпят крушение за крушением и безмерно озлобляются на всех и вся. Сколько ушатов грязи вылил Михаил Сивачев на ненавистную ему «интеллигенцию», которая не умела его оценить? И г. Пимен Карпов тоже начал свою деятельность с книжки «Говор зорь», в которой следовал по тропинке, проторенной «Вехами», и ставил крест над всей интеллигенцией. Через год-другой никто не будет помнить о «Пламени», как никто не помнит теперь о «Записках» г. Михаила Сивачева.» [5]).

О Надежде Санжарь З. Гиппиус писала: «Среди представителей народа», идущих ныне в «проклятый город», в «проклятую интеллигенцию» и, в частности, в литературу, есть и женщины. Такова Надежда Санжарь. Она очень напоминает Сивачева. Сивачевщина, ведь, не индивидуальна, а типична. В конце концов она не одну интеллигенцию проклинает. Не признак ли это дикости, ненормального состояния... отнюдь не интеллигенции, а всей России, не симптом ли это коренного какого-то культурного извращения?»

Очевидно, попали «документы» не в бровь, а в глаз. И был дан отпор... Однако обратимся к самим авторам. Кто они такие?

---

1) «Русское Слово», 1911 г.
2) «Русская мысль», 1911 г., № 6.
3) «Современное Слово», 1913 г., № 2084.
4) «Речь» 1913 г., 281.
5). «Заветы», 1913 г. № 11.

V.

М. Сивачев.

«Когда-то по просьбе Григория Петрова—писал мне Сивачев—я дал ему,—он намеревался писать книгу.—свои записки размером до семи листов. Теперь я уже не могу подробно писать о себе; я человек надломленый. Не скрою от вас, мне кажется, я уже вступил в период, когда человек чувствует, что это начало его конца. Прежде у меня хватало сил хоть и голодать, но писать, писать во что бы то ни стало; теперь я уже не имею силы писать на тощий желудок и стараюсь заработать кусок хлеба каким-нибудь местом вроде «ответственого» редактора при каком-пибудь журнале. Конечно, не для того я шел в литературу, чтобы иметь кусок хлеба. Если бы последний был для меня единственной задачей, тогда бы я в литературу не пошел. Я знал, что она кормит плохо. Но мне дан суровый урок, что люди необеспеченные не должны иметь высоких стремлений, ибо высокие стремления ценятся на словах. И когда я думаю о литературном пути, мне этот путь представляется во сто крат худшим, чем каторга. Там человеку, совершившему даже преступление, дают и кормят хлебом, здесь же в литературе человеку, единственная вина которого в том, что он потянулся к более одухотворенной жизни, чем жизнь масс, ни крова, ни хлеба. Вот одна из жестоких гримас лицемерной культуры, а тем паче искусства. В этом грехе повинны литераторы. Это они давят в нас все светлое, давая возможность торжествовавать тому, что таким махровым цветком распустилось в литературе. Я голодал на пути литературы все десять лет, я травился, не имел крова, ночевал под открытым небом. За все это литераторы дали мне агонию, в которой я теперь пребываю. Именно агонию... Что же мне отвечать вам, что я раздавлен, что последние мои годы—годы бессилия и угасания, что даже всякая мысль о литературе для меня источник тяжелых, горьких и, главное, недейственных раздумий? Поэтому не посетуйте за краткость...

«Девяти лет я лишился отца, одиннадцати—матери; остался с малолетними сестрами. А так как бедность была крайняя, то с детских лет старался что-либо заработать. Работал на бойнях, помогая мясникам, за что мне давали мяса; работал на постройке мостов, получая 20 коп. в день, по котельному делу (лез в котел, чтобы поддерживать заклепки—работа, изображенная Гаршиным в

«Глухаре»). При отце я учился в начальной школе; при матери был уже во втором классе училища; но со смертью ее дальнейшее учение оборвал. Некому было попросить за меня, и 14-ти лет я попросился в ученье на завод сам. Срок ученья—5 лет, первые годы—бесплатно, на всем своем, на 3-й год—10 коп. в день, на 4-й—20 коп., на 5-й—30 коп. Проучившись год, я ушел в другой завод уже не как ученик, а как мастер. Зарабатывал там не меньше, чем ученики, пробывшие на выучке все 5 лет. Работал я токарем по металлу. Казалось,—первые месяцы я зарабатывал до 50 рублей,—что мой искус жизненый кончен. Но... познакомился с Марксом и прочими экономистами и стал сознательным рабочим, на языке заводской администрации «красным» и, конечно, из завода вылетел. Начал колесить по всей России, где только есть промышленные центры. Менял я места часто. Где сам бросал, где меня выкидывали за неблагонадежность; так молодость, горячность, желание послужить пролетариату носили меня из города в город. К 20 годам меня уже знал департамент полиции, и я жил под надзором, иногда без права заниматься своим трудом. В такие периоды помогали мне рабочие, а вне этих периодов я безработным никогда не был. Подчеркиваю: я никогда не голодал и не был без крова в бытность рабочим, а в бытность литератором хватил того и другого через край. Но с 20 лет я начал страдать ревматизмом, и эта болезнь в 24 года выбросила меня из сферы труда вон навсегда. Нелепа была моя юность. Не легко было работать с ревматизмом. Но вот что отмечу. Припоминая все это, я теперь вижу, что нелегкая жизнь переносилась, в общем, легко, ибо была вера, что это не важно; что погибаю я, единица, но существует где-то на верхах,—в науке, литературе,—правда и справедливость, существует начало, стоящее нелицемерно на страже прав человека.

«Естественно, что, когда сфера труда выкинула меня вон, я потянулся к этому началу. На какие шипы я наткнулся с первых же шагов, вы знаете из моих двух книг «Прокрустово ложе». Есть у меня и третий том «Цветы земли и неба». После «Прокрустова ложа» я прочитал о себе не мало. Меня поносили в газетах, в журналах и в Москве, и в Петрограде, и в Киеве. Корней Чуковский в «Речи» назвал меня «злой отвратительной душенкой»; в том же духе аттестовали меня Измайлов, Зинаида Гиппиус и другие. Меня это не задевало, в это время я был далек от мысли, что меня сломят, сотрут, задавят... Без злобы и сейчас вспоминаю черные рецензии, и жаль мне этих критиков: так мало у них чуткости к делу, которому они служат. Но в то время погибли жена и ребенок, которых я очень любил. Утрата

их меня раздавила, главным образом. Останься в живых жена, я над всеми своими мытарствами только хорошо бы посмеялся. Но жены нет, без нее у меня нет и поддержки. На дворе светит солнце, и мне больно вспомнить все прошлое, хотя—правду говоря—только это и делаю. Знаете, как старики: выйдут на солнышко и думают о чем-то тихо, как будто мирно—не видать, что у них в мыслях и на душе. Вот я становлюсь вроде этих стариков. Как увижу солнце, так и иду под него додумывать много раз уже передуманное... Однако, я отклонился в сторону.

«Чистосердечно говорю вам: злобы в моей книге нет, есть невозможность хорошенько осмыслить то, что я писал. Книги вышли резки не потому, что я не додумал своих выпадов. Нет, если бы у меня была возможность писать эти книги в лучших условиях, они были бы более убедительными в своей резкости. Но всем, поносившим меня, не приходило в голову узнать, что когда автору книг представился случай издать их, то — предварительно до этого задерганный, загнанный, страшно изголодавшийся—он ухватился за этот случай, как утопающий за соломинку и написал обе книги в два месяца. Работая над ними, я доходил до изнеможения, падал в обморок от усталости, а когда обморок проходил, вновь садился за писание, да к тому же еще за корректуру этих книг. Писал при голодовках, видя недочеты своей работы. А вот как писались «Цветы неба и земли». Я голодаю; издатель говорит: «Дайте рассказов мне на книгу, а я вам аванс дам в сто рублей». И я сажусь и пишу два больших рассказа и мучаюсь, что я гублю хороший материал.

«Литераторы указывали, что вот-де, мол, Сивачева издает солидная фирма (Крандиевский из «Бюллетеней Литературы и Жизни»). Сами же мне, как автору «Прокрустова Ложа», мстили и мстят таким образом. В «Заветах» у меня еще раньше взяли рассказ. Потом же, ничем не мотивируя, рассказ вернули... Через месяц в этих же «Заветах» Иванов-Разумник отзывался обо мне в высшей степени отрицательно. Этот пассаж придавил меня, как камень; когда стали сказываться результаты, все плачевные, я понял, что куда не сунусь, будет отказ,—та же история с «Заветами» или еще хуже. Тот же рассказ послал я в «Современный Мир». Рассказ не приняли. Рассказ у Миролюбова принят был давно. Я написал ему, что, если не желает печатать, пусть вернет назад...

«Многое мог бы я вам сообщить еще из того, что постепенно подтачивало и убивало мои силы, довело до того состояния, что одна мысль взять перо в руки мне мучительна. Но я обры-

ваю свое повествование. За что, за что я подвергся такому заушению? За то, что осмелился сказать громко, что литераторы наши разлагаются. Мне остается труд, до идиотизма механический, с ничтожной оплатой; как лицу, не имеющему образовательного ценза, мне не дадут иного места. И я работал вот уже два месяца конторщиком при одном из земских учреждений. Однако, учреждение расчитало меня якобы за ненадобностью, а на самом деле на мое место посажен какой-то писарь. Этому учреждению не нужны люди, одаренные мыслью, — им нужны лишь почерки писарей. Я не могу, разумеется, быть в претензии. Остальное же, вся моральняя сторона положения остается на совести нашей культуры».

Так писал о себе М. Сивачев в 1916 году. Но с начала войны его имя стало мелькать в журналах. Его уже печатали не только «Нива», «Солнце России», «Биржевые Ведомости», но и «Национальные проблемы», «Русские Ведомости». В 1917 году в «Вестнике Европы» появились его очерки «Из деревенских инечатлений», в 1924 г.—«Желтый дьявол».

VI.

Пимен Карпов.

Жизнеописание Пимена Карпова я расширяю «Исповедью самоучки», напечатанною им в «Журнале Журналов». Как и в своем романе, Карпов и в этих записках обрывист, загадочен, сбиваясь с бытовой канвы на бред, не поддающийся переводу на язык житейский.

«Есть что-то зазорное в писании жизнеописаний, особенно самоучек, у которых почти ничего нет в жизни, кроме нищеты и унижений,—писал Карпов.—Я поэтому в могилу унесу с собой пытки моего бытия. Буду говорить о редком и мимолетном, о радостном и светлом, что было в моей жизни. Первое, что запечатлел я в раннем детстве, что поразило меня и привело в священный ужас, это — солнце. В семь лет, наслышавшись рассказов о святых, я возжаждал быть святым, да не простым святым, а чудотворцем, по одному слову которого исцелились бы все до одного в мире больные и страждущие, и исчезли бы с лица земли все беды, несчастья и неправды. Я не требовал бы ни молитв, ни поклонений, — я просто исцелял бы всех, кто нуждается в исцелении. Но сделаться святым мне помешало то, что я до безумия влюбился в соседнюю девчонку. А влюбившись я

слагал песни, которые распевались на деревне... Мне тогда было уже девять лет. Возлюбленная моя изменила мне, и я проклял ее. Пошел плутать по деревням.

После уже, когда я сам влюблялся столько раз, сколько встречал молодых женщин и девушек, я простил первую мою любовь, что изменила мне; ибо и изменила-то она мне, чтобы узнать, взаправду ли я люблю ее. Ей было тогда тринадцать лет. Уже совсем взрослым я пошел пешком в Москву. Жить в степи с солнцем и цветами, пасти стада, копать коренья, собирать щавель — какая это радость! Но дернула меня нелегкая бросить поля родные и уйти, очертя голову, в город из-за какой-то там любви — из-за девушки с светлыли глазами. И да будет трижды проклято это «сердце России», заплывшее жиром, как у откормленной свиньи! Москва встретила меня враждебно, и я, отряхнув ее прах с ног своих, ушел в Петербург, — благо у меня был с собой целый коробок песен и сказок. Их я мог рассказывать и петь по городским стогнам, а то и печатать в газетах. Не беда, что записать сам не умею; другие запишут, да и я подучусь. С голоду—во всяком разе—не подохну. В Питере, в надежде встретить светлоглазку, иду на набережную Невы. Умиляюсь шири и мощи реки. Спрашиваю робко какого-то прохожего:

— Не видали вы тут близ Невы девушку с светлыми глазами?

— Какая же это Нева, это Обводный, — презрительно щурит он глаза. — Необразованность!

Ладно,—утешаю я себя,—и иду в храм искусства, в музей. Оказывается, он тут же. Картины видать через окна с улицы. Но, боже, зачем здесь крики и звон бутылок, и табачный дым? Неужели же и здесь нет девушки с светлыми глазами? Музей? переспрашивает меня кто-то из-за столика.—Трактир это, брат, а не музей. Пойми это, деревенщина! Ну, а девушку тебе надо,— так на тротуаре. Которая с папиросой.

Голод заставил меня петь на городских стогнах любимые мои песни, но вот горе: за первую же мою песню отвели меня в участок и чуть было не выслали.

Но я уже знал, что на улице делиться песнями да сказками невыгодно: никто ничего не дает. А пойти в редакцию—грамоты не знаю, своих же песен списывать не умею; два только года назад впервые увидел в степи у какого-то мальченки букварь, кое-что раскумекал сам собой, но и только. И вот, что творит со мной любовь к девушке с светлыми глазами. Я день деньской хожу, задрав голову, по городу, выучиваю по вывескам грамоту. Да, по вывескам. И как успешно! Через месяц я уже читаю, как заправ-

ский пономарь, а через другой—и пишу без ошибок. Конечно, пока печатными буквами пишу. Но это оттого, что некогда. За поденную плату я подметаю те самые стогнища, что так недружелюбно приняли меня с моими песнями.

Не то, что в степи, где я до двенадцати лет болтался, не зная ни аза... А светлоглазка! Она открыла мне тайну письма, тайну слова, и я—видит бог, что я не рисуюсь—без всяких грамматик, без посторонней помощи постиг настолько науку слова, что уже печатал фельетоны и стихи в «Русской Жизни», газете Дучинского, которую редактировал В. В. Брусянин. И это через месяцы ученья по вывескам, а впоследствии по листкам газеты. А пел я в стихах и рассказах все о ней, о девушке с светлыми глазами.

О, незабвенный девятьсот седьмой год, когда законодательствовала, а не подхалимствовала Дума! Или Думы? Не помню сколько их в том году было. Прихлопнули, понятно, «Русскую Жизнь».

И, благословясь, направляю стопы своя в «Речь», к редактору Иосифу Владимировичу Гессену. Говорю ему:

«Я самоучка, крестьянин... Земли нет... и хаты нет... мать побирается, отец болен... Я работал в «Русской Жизни», а теперь ее закрыли. Вы, товарищ Гессен,—такое тогда было модное слово «товарищ», и так я еще был глуп—вы, товарищ Гессен, понимаете, что самородки на свете редки. В России только они водятся, а за границей их уже нет. Так вот поддержите меня, товарищ Гессен. Дайте работы. Три дня не ел. Не спал—негде. Правда? Вы поможете?»

Но вместо ответа товарищ Гессен нажимает кнопку. Кричит вошедшему служителю:

— Без доклада ко мне никого не впускать, болван!

Помню, меня тогда больше всего поразил не отказ, не страх голодной смерти. А то, что Иосиф Владимирович назвал сторожа болваном вместо того, чтобы назвать его товарищем.

Куда ни заводила меня девушка с светлыми глазами! Как-то пошел я искать ее в религиозно-философском обществе. И вот Д. С. Мережковский—прежде, чем принять в лоно неохристианской церкви—подвергает меня допросу. Допрос ведется с пристрастием.

— Кто вы? Како веруете?

— Крестьянин. Взыскую Грядущего Града.

— Где учились?

— Нигде. Самородок. По букварю в степи начал, по вывескам в городе кончил, святым духом.

Мережковский ехидно улыбается.

В Петербурге я печатал стихи, статьи и рассказы в периодических изданиях. Книги мои «Говор Зорь» (1909 г.), «Знойная лилия» (1910 г.), «Пламень» (1914 г.) изданы также здесь. Характерно, что ни об одной из них московская пресса не обмолвилась ни одним словом в то время, как в петербургских газетах и журналах были статьи и заметки обо мне. Мне сейчас 27-ой год. Хотя доктора определили мне жизни не больше пяти лет, но—думаю я—их достаточно, чтобы отомстить моим врагам—не злом, а добром: это-то и есть месть настоящая».

Так писал о себе Карпов в 1915 г. Позже, кроме сборников стихов, вышли его рассказы «Трубный голос».

VII.

Н. Санжарь.

Надежда Санжарь рассказала о себе в двух «Книгах о человеке»—это книги о самой себе.

Санжарь—дочь крестьянина г. Харькова и донской казачки. «Я знала одну малограмотную девушку-прислугу, которая с огромным пылом и жаром—пишет она о самой себе—высказывала идеи и мысли, легшие в основу философии таких различных людей, как Толстой и Ницше, намекала на то, о чем теперь проповедует Анри Бергсон. А когда говорили: это у вас Толстовское, а это сказал Ницше,—то моя простушка с негодованием до слез кричала: убирайтесь к чорту, никакого Толстого и Ницше я не знаю! И она тогда их действительно не знала. Эта маленькая девушка, с самым простым непривилегированным паспортом и большими кипучими мыслями в голове, была—я сама».

Эта «девушка с мыслями Толстого и Ницше» начала свою карьеру с горничной. Затем перешла в булочную, испробовав все мытарства подневольной жизни. В Петербурге появилась без всяких средств, но с надеждой на приискание занятий. Это уже было в 1901 году. Последнее же ей долго не давалось. Наконец, после скитаний по модным мастерским, загнанная в общежитие женского взаимоблаготворительного общества, она занялась отделкой кукол. Здесь же впервые познакомилась она с грамматикой, после чего начала подниматься «с уличных низов до верхних ступеней интеллигенции»,—как говорит издатель «Записок Анны».

*

Автобиографичны и «Записки», как видно из предисловия. Воспользуемся же и ими для иллюстрации отдельных моментов.

Вот что рассказывает о себе Анна, т. е. Санжарь. У нее не было детства. Отец за нехорошие дела сидел в тюрьме, а мать... затравленная и пьяная, конечно, была и проститутка. Было Санжарь 13 лет, когда она устроилась продавщицей в булочной. Три года прослужила и «отлично научилась продавать булки». Но не в одном этом была там сила. «Хозяин, нанимая девушек красивых, платил гроши, но при магазине имелся зал, где можно было выпить молока, шоколаду и поухаживать за продавщицей. И надо сказать правду: развращали, калечили девушек господа посетители немилосердно».

Но вот и для Санжарь пришла очередь. Дома нищета, ужас, заливаемый водкой, а тут со всех сторон сулят «теплоту отношений», и все это одним путем—путем разврата. Вот она в Петербурге. Чуть не с бою раздобыла заработок, но не надолго; зарабатывала отделкой кукол, но заработок был случайный. После продолжительного голодания вдруг прочла в газете: «требуется хорошо сложенная женщина для позирования». «Чуть не расцеловала газету,—мне казалось, что от об'явления идет аромат обеда. Боже-мой, ведь я так давно не обедала по настоящему! Понеслась по об'явлению, а в голове одна мысль о щах со сметаной и гречневой кашей, горячей-прегорячей с маслом. Подумать только, что может сделать из человека голод! Но и тут не вышло».

Второй обморок; устала, обмалокровилась... Пережила отвратительный кошмар, побывала в больнице и в один промозглый петербургский день сказала себе:

— Ну, Анна, на этот раз глухую стену тебе не прошибить— не ломись напрасно. Из твоего положения есть только два выхода: проституция или «тот свет».

Однако, сама же себе отвечала: «Только позволь, и «они», под видом покровителей, друзей, любовников, замучают тебя, изнасилуют твою душу, истреплют тело, убьют в тебе все, что может напоминать человека... Разве у тебя нет способных, не боявшихся труда рук?» Через доктора, лечившего в больнице, получила вдруг место чтицы к больной старушке. Это оказалось тем, что ей надо было в те дни.

Вот она—под влиянием тягостного чувства—написала как-то сказку и отправила в редакцию большого журнала. Отправила «скорей со злости», смотря на это, как на одну из своих непонятных, диких выходок. И вдруг ответ: «С особым удовольствием поместим вашу сказку-утопию в ближайшем номере журнала».

Написала другую, послала в другой журнал. Слишком уже фантастично, неожиданно все это... А в ожидании ответа писала сказку за сказкой—пришлась по душе эта форма.

«Факт несомненный,—читаем далее—у меня оказался своеобразный литературный талант. Это признали, за него мне хорошо платят. Начинаю приходить в себя, осваиваюсь с переменой моей жизни».

Раз так, надо ехать в Ясную Поляну. Санжарь чувствовала, что идет к Толстому «с какой-то огромной жизненной правдой», «какая-то подлинная Америка крепко зажата» была в ее руках. Она принесла Л. Н. Толстому «тетрадку с довольно оригинальным содержанием», при ней письмо. Лев Николаевич был занят.

Он явно был недоволен.

— Вы мне принесли вот это? Не могу же я читать все, что мне приносят, присылают. Потом я могу не похвалить вашу литературу — вы будете питать ко мне недоброе.

Я говорю ему:

— Это не литература. Если вы мне не верите, дайте прочесть кому-либо из ваших. От них узнаете.

«Он взял пакет, говоря:

— Мой вам совет — не пишите, не надо, в писаниях — две трети лжи.

Его явная неприязненность начинает портить мне самочувствие. Я говорю:

— А как же вы дали письмо к «Гардениным», горячо советуете читать этот роман. Роман, значит, две трети...

Лев Николаевич покраснел и негодующе ответил:

— Но это Эртель!

Я с удовольствием смотрю на него.

— А что если я тоже Эртель в своем роде?

Я вижу, он меня совсем не слушает, опять упрямо сует мне тетрадку.

— Ах, какое у вас самомнение, какое самомнение!

Лев Николаевич не слушает меня и говорит много, возмущенно. И чего он кричит? За что он меня так не взлюбил, не взлюбил, совершенно не зная меня и даже не желая знать?

Я молчу, не зная, как это прекратить и уйти. Он тоже замолчал и вдруг посмотрел на меня и смиренно весь опустился. Злой судья, гордый граф исчез, и Лев Николаевич смущенно забормотал:

— Что же это у нас такое? Мы ссоримся. Вы ко мне пришли, мы должны жить в мире. Вы моя сестра.

Так это было неожиданно, так показалось мне неумно и лицемерно. Я не могла больше так разговаривать, повернулась и быстро пошла от него. Такого глупого, нелепого разговора, какой произошел с Л. Н. Толстым, у меня сроду не было. И в то же время я никогда в его сочинениях не видела, не понимала так его подлинной сути, как поняла во время этого разговора».

Кроме «Записок Анны», выдержавших два издания, Санжарь выпустила две «Книги о человеке, «Заколдованную» и «По своему.

VIII.

Итак, Сивачев — пролетарий, Пимен Карпов — крестьянин, Санжарь — дочь лумпенпролетариата. Но что-то сближает их одним настроением. Чтобы писать, надо учиться. Чтобы учиться, нужен заработок, дающий досуг. Досуга нет, нет возможности учиться — вот порочный круг. Что же представляют они собой, как литераторы?

Критики признали их бездарными. О Сивачеве («Прокрустово Ложе») Измайлов писал: «Великому множеству непризнанных богом людей, алчущих славы, он поучительно расскажет, какое великое несчастие стремиться к писательству без явного дара!» Он цитировал слова адвоката, который говорил Сивачеву: «Безграмотность у вас страшная. Читая ваши рассказы, я хохотал. Понимаете, до коликов хохотал над тем, как у вас расставлены знаки препинания».

«По «Запискам» видно, что г. Сивачев не обладает ни литературным дарованием, ни просто литературными способностями», писал и Антон Крайний. Иванов-Разумник о Сивачеве и Пимене Карпове писал: «Это — выходцы из народных низов, оделенные жаждой литературной работы, но обделенные талантом». В «Пламени», — по словам критика — Карпов подражал давно уже преодоленным приемам ремизовского «Пруда». «Но как подражал! Безвкусно, невыносимо». Не выше оценивалась Санжарь.

Оценки эти пристрастны. Правда, сами авторы держатся преувеличенных представлений о себе. Так, Сивачев писал о себе: «Я издохну под забором, но и издыхая там, я буду убежден, что русская литература настолько богата... бриллиантами Тет, что не нашла нужным поднять такое золото в кварце, как я». Санжарь молит небо, чтобы у нее «не закружилась голова от успеха». «Помоги, мне, небо, с талантом, славой, деньгами до конца моих

дней быть человеком». Того же мнения о себе Карпов. Но к самомнению самоучек не надо относиться строго. Шаг за шагом делают они без школы, без помощи со стороны, и им все кажется, что открывают Америки...

Недостатки Сивачева—беспорядочный, подчас безграмотный язык, примитивность стиля. «Сложной простоты» художественного мастерства у него нет. Но жизненность, наблюдательность, пафос—все это сообщает «Запискам» литературный колорит. «Цветы земли и неба» уже не «Записки», а рассказы, но Сивачев и здесь мало об'ективен. Он лишь хорошо прочувствовал свои настроения. А «Очерки деревни», напечатанные в «Вестнике Европы», говорят уже о немалом опыте. Мельче, конечно, Санжарь. Но «Записки Анны», напечатанные первоначально в журнале «Образование», написаны не хуже иных вещиц двойника Антона Крайнего [1]).

Что же касается Карпова, то сквозь бред фанатика-сектанта,—местами возмущающий, местами потрясающий, — нельзя не видеть ту «необычность», которая свойственна писателям недюжинным. На нее указал тогда же Д. В. Философов [2]). Ясинский же,—уверенный, что зашумят лавры над головой Карпова, — писал: «По моему нет поэзии и высшей правды, если нет бреда. Разве не гениальный бред — «Мертвые души», «Дон Кихот»? [3]).

Так или иначе, ни Сивачев, ни Пимен Карпов не оказались беллетристами на час, а вошли в семью писателей.

IX.

В чем же смысл, тот смысл их произведенный, который приковал к себе внимание? Ведь если бы в них не был какой-то узел социальных отношений, кто бы с ними стал считаться? В прессе это нащупывалось вяло.

К. Чуковский писал: «С какой вдохновенной яростью рады Сивачевы обличить, заклеймить без милости и без жалости всех, кого зовут интеллигентами, всех, кто (как чудится им) безбожно и резво на Невском проспекте срывает цветочки культуры! «Мы» и «они» — как бы два враждующих стана. И есть уже знаменья, что близка между нами битва. Здесь главная и основная моя тема. И больше всего меня радует ныне эта грядущая

---

[1]) Зинаиды Гиппиус.
[2]) «Речь», 1913 г. № 281.
[3]) «Биржевые Ведомости», № 13806, 1913 г.

битва — бой между «нами» и «ими». И как это будет отлично, когда они нас победят». К. Чуковский вообразил себя народником, в чем-то покаявшимся. «Все, что отличало когда-то прежнюю русскую интеллигенцию: весь этот героический пыл, это идейное кипение, эта влюбленность в народ, эта жажда жертвы и подвига, — писал он, — все отлетело от нас, отошло и стало достоянием их, «полунищих, полуневежд», Кобелевых и Малафеевых, только сегодня явившихся на общественную сцену, но уже полностью принявших то наследие наших отцов, которое было завещано нам, и от которого мы отреклись. Так что уже и сейчас настоящие интеллигенты — они, только они одни! Основные, коренные черты былой интеллигенции русской именно у них, у Малафеевых»! Все это было так и в то же время... не так. Чуковский, однако, был ближе к истине, чем Иванов-Разумник или Антон Крайний.

Иванов-Разумник в «Жертвах вечерних»,—так назвал он свою статью о самоучках, — предрекал: «Через год-другой никто не будет помнить о «Пламени», как никто не помнит теперь о «Записках» Михаила Сивачева. Если бы они были подлинными «хлеборобами» по духу своему, это бы не случилось». Но так как они не «подлинные», то... о чем беспокоиться? Антон Крайний, «не содрогаясь», отмечал лишь, что прежде Ломоносовы, удачные и неудачные, были томимы жаждой просвещения, шли учиться. Пимены же Карповы, Сивачевы, Санжари идут не учиться, а учить.

Один Блок — сопоставляя «Пламя» с «Записками», Санжарь и Сивачева — пророчески писал: «от них, как от книг, не сохранилось ничего, сохранилось лишь нечто, чего выразить и оформить невозможно, как память о физической боли. Нам придется, рады мы или не рады, запомнить кое-что о России. Пусть приложится это к «познанию России», *лишний раз вздрогнем мы, вспоминая, что наш бунт так же, как был, может быть опять, «бессмысленным и беспощадным»* (Пушкин); что не всего можно предугадать и предусмотреть; *что кровь и огонь могут притти и заговорить, когда их никто не ждет; что есть Россия, которая вырвавшись из одной революции, уже жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной»* [1]). Это почти то, что говорит Чуковский, — в пустяке разница,—но как поверхностно оно у Чуковского, и как значительно у Блока!

---

[1]) «День», 1913 г. № 292—Приложение. (Курсив мой).

X.

Смысл произведений в том, что они отразили яд полукультуры, который прививал себе выходец из народа. «Казалось, что и раньше интеллигента от мужика отделяла глубокая пропасть,—писал товарищ Сивачева по «Народной Семье», конторщик Афанасьев,—но до 1905 г. эта пропасть особенно ярко не выделялась; ибо об этой пропасти говорили, писали интеллигенты и только интеллигенты! Но после 1905 г. наверх выплыли пионеры народа и заговорили от имени народа и за народ» [1]).

«Кобелевы и Малафеевы» (как выражается Чуковский) не на одно лицо. В те дни уже зарождалась рабочая печать и вместе с ней группа писателей-пролетариев в промышленном смысле слова, и любопытное явление наблюдали мы. Эти пролетарии не выражали претензий ни к «Ниве», ни к «Вестнику Европы», ни к Чирикову и Григорию Петрову. Эта пресса им была «чужая»: они строили свою литературу. Однако, ни Сивачева, ни Карпова, ни Санжарь в числе деятелей рабочей печати не было. Очевидно, выражали они иную стихию.

В то время, как те исходили из интересов производства и идеи классовой борьбы, Сивачевы и Карповы направили свою злобу против группы, которая с момента своего появления сама себя отрицала. Разумеется, и это была злоба против имущих. Но постичь всю сложность тех отношений, которые выражает город и культура, они были бессильны, и тот факт, что они голодают, а интеллигенты «пристроились на тепленькие местечки, едят сладко, живут гладко, в картишки играют», достаточен был в их глазах для того, чтобы свалить вину на последних.

Три момента типичны для этого взгляда: гордость своим происхождением, вера в право занимать то положение, которое занимает интеллигент, и ненависть к нему. «Перефразируя Ивана Карамазова,—писал Афанасьев—М. Сивачев мог бы сказать: не идеалов ваших интеллигентских я не принимаю, но мира-то вашего, жизни живой, реальной я не могу принять. От интеллигента М. Сивачевы потребовали не слов, возвышенных фраз, а поступков, действий, потребовали того, чего у интеллигенции нет. Ей говорят Сивачевы: мало понимать умом, надо чувствовать сердцем ту великую неправду, нужду, которую принесли с собой мы». Да, интеллигент не может «чувствовать» этого, и «велико-

---

[1]) «Народная Семья», 1912 г. № 3.

душный Федька» сливает его со всем, что его давит и ожесточает в жизни, что дает ему камень вместо хлеба.

«Битва» была близка,—в этом Чуковский не ошибался.

XI.

Вера—и сама больная—ехала в вагоне второго класса с больным ребенком на руках. Вместе с ней были «господин в идеально сшитом сюртуке», инженер, «барынька из тех, что вечно лечатся», и другие. Когда ребенка начало слабить, и «в атмосферу вагона, насыщенного духами, вошел кисловатый запах совершенно жидких испражнений», барыня, лежавшая «на бархатных подушках», «завопила». Присоединились инженер, «идеально-сшитый сюртук», прочая «рафинированная чэрнь», выхоленная на соках народных, и матери пришлось уйти с своим ребенком в третий класс, где «простым бабам и мужикам горе матери понятнее». Вера посматривала на эти лица, на которые «труд наложил свой облагораживающий отпечаток, отпечаток той мудрости, которая знает, как велика и мучительна борьба за существование трудящегося человека», и писала своему мужу: «Жив бог в душе простых людей. До сих пор я не знала, до какой степени интеллигентные люди способны быть зверями! Я хотела двум негодяям дать по пощечине и не могла. Один звук—«культурные люди»—вызывает у меня представление существа, в гадливости с которым ничто не может сравниться» [1]).

Не знаю, так ли, в действительности, чувствовала героиня Сивачева. Но автор весь в этом настроении. Жив бог в душе бабы, потому что она баба; жив бог в душе мужика, потому что он мужик. Инженера же, писателя, барыню, лежащую на «бархатных подушках, он заносит за скобки «культурных людей», оставляя за собой право ненависти к «интеллигенции» на всю жизнь. И любопытен генезис этого чувства: «Я приглашаю заглянуть, что за пропасть отделяет человека из народа от интеллигенции,—писал Сивачев в «Прокрустовом Ложе», — шесть лет я убил на попытки перекинуть через эту пропасть мостик—и не смог. Шесть лет я смотрел на людей, олицетворяющих собой лучший цвет современной культуры, смотрел, расплачиваясь за такую «честь» муками свыше человеческих сил, смотрел и, в конечном счете, пришел к заключению, что весь этот «лучший цвет»—за с т р а ш н о

---

[1]) «Цветы земли и неба». 1912 г. Стр. 54—59.

редкими исключениями—банкроты духа». Как же укреплялась «правда» Сивачева?

«К 24-м годам капитал высосал из меня все, что можно высосать,—начинает свою исповедь Сивачев,—и выбросил из сферы труда вон, как негодную, вполне исполнившую свое назначение ветошь», т. е. выбил из рядов пролетариата. Болезнь,—тяжелый, уродующий артрит,—закидывает его в избу, к братьям-мещанам, и с тех пор «необ'ятность мира для него ограничена только взглядом из «того окна». Сивачев слыл у братьев социалистом, и они не щадили его, полураздавленного. Один, более мягкий, убеждал: «Что ты здесь лежишь? Шел бы в богадельню». Другой, ссорясь с братом, говорил: «Горд, сволочь? Брату не хочешь поклониться? Нет, врешь, калека, когда-нибудь и поклонишься».

И вот сын фабрики, выброшенный из производства, всем существом отражает отколотость от целого. «Раздавленный неудачей, своим недугом, я глазами одинокого, затравленного существа смотрел на жизнь города, и лик этого огромного чудовища вселял в меня то страх, то злобу». Он возлагает упование не на самый порядок отношений, а на отдельных людей, сильных и властных, могущих послужить ему опорой. Так складывается самое положение. Не замечая, что личность зависит от других лиц, а вместе с тем от всей сложности отношений, что личность часто бессильна поступить так, как диктует ей собственная воля, он начинает больше ненавидеть, чем любить, наконец, сосредоточивается на злобе против всех, кто равнодушен к его «я», которое стонет и проклинает.

Сосредоточение на своем «я» кладет отпечаток на «Записки» от начала до конца. Если Сивачев говорит о голоде, то знайте: речь не о голоде вообще, а об авторе, которому есть нечего. К остальному он глух. Отсюда и драма пролетария, выбитого из колеи труда. Не видя жизни, а, следовательно, и людей во всем об'еме, он требует от них того, чего они дать ему в данных условиях не могут.

Под влиянием девушки, которая потом стала его женой, его потянуло в литературу; познакомившись же с жизнью Максима Горькаго, он решил: здесь его ум и здесь его сердце. И он стал писать. Коченели от холода руки,—отогревал их на лампе. Обезображенная рука не повиновалась перу, он свирепо насиловал ее. Далее, уезжает в поисках Горького и становится лицом к лицу с писателями, с адвокатами и т. д. Он ищет покровителя, который должен решить, есть ли у него дарование или нет; приписывает литераторам свойства, которых у литераторов совсем нет; да едва ли

есть и у других людей. Так, нападает он на Горького, священника Петрова, Нижегородского адвоката и т. д. Помочь Сивачеву было не так просто, даже если бы талант его не подлежал сомнению. Надо учиться, что требует средств. Белоруссов, расположенный к Сивачеву, отмечал, что писания его «мало-литературны, часто безграмотны»—«не печатать его надо было, а дать сухую и теплую комнату и кусок хлеба, возможность учиться и выработаться, может быть, в недурного писателя». Помог ли это сделать Горький или священник Петров? Едва ли буду пристрастен, если скажу, что не только Горький, Петров, Потапенко, Вейнберг, но и Ремизов и Айхенвальд, которым Сивачев не прочь закатить пощечины, не могли ему дать больше того, что дали. Но Сивачев убедил себя, что писатель на то писатель, чтобы оправдать его веру в жизнь. «Разве я прошу чего-либо особенного?—рассуждал он.—Немного прошу, а не могу ни от кого добиться». И литератор вызывает в Сивачеве озлобление своей сытостью, а вместе с литератором—вся интеллигенция.

Представление о ней у него неизменно сочетается с городом. Вот он идет от адвоката, с трехрублевкой в кармане. «Стало жутко. Я впервые почувствовал, что это за ужас город ночью, когда он в тишине и безлюдьи, для человека, не имеющего в нем крова. Вас смертельно оскорбляет не только человек, но каждый кирпич на стене, каждое бревно. Город! Город! Пойми и почувствуй свой ужас!» И далее: «Город, Город! Вот твоя улица. О, какая это насмешливая, жестокая, лживая, равнодушная ко всему, кроме своего я, толпа Невского! Она течет, сгущается и лжет, лжет, лжет».

Не умея охватить жизнь в целом, Сивачев вязнет в этих мыслях об интеллигентах. Он не ошибался, когда писал: «мне почудилось, что таким культурным питомцам такие люди, как я, тяжелы. Сытых, красивых, обеспеченных людей им нужно видеть, а не тех, кто что-то просит». Но ошибался Сивачев, когда весь узел противоречий сводил к интеллигенции, которая «на нашей спине выезжает».

Это драма пролетария, тянущегося в буржуазную культуру, которой он и строем чувств, и строем мыслей, конечно, чужд. Оттого так занят он личными счетами, столь неприятными в его исповеди. Он ненавидит всю интеллигенцию, вместе взятую, олицетворяющую культуру, которая, вместо хлеба, дает ему камень; ни малейшей слабости не хочет он простить ей.

«Я принес большое положительное,—говорит он— мне дали большое отрицательное». Что же это за положительное?

Сивачева до-революционного надо отличать от Сивачева по-революционного. В повести «Желтый Дьявол» он пытался в 1920 г. преломить быт и психологию революционной деревни. Перед нами уже не интеллигенция, а народ. Что же положительного дает писатель? «Труд наложил на народ свой облагораживающий отпечаток, отпечаток мудрости». Он ненавидит золото, от которого пахнет потом бедняков. Для иллюстрации Сивачев выбирает мужика.

И вот — после Бунина, Чапыгина, Под'ячева — выступает история жизни кулака Акима Бололюба. Человеческое в нем убито, умер стыд, умерла и любовь к детям. Но кулак — это случайный нарост на теле народа. Даже жена Боголюба упрекала мужа за жадность к золоту. Что же касается детей, то все они, как дети народа, ненавидят деньги, нажитые отцом, чувствуют правду социализма. Кончается все тем, что третий сын Иван становится во главе комитета бедноты, вооружает деревню против отца и отнимает у него деньги. Аким погибает в то время, когда «ясно стало самому ему, что деньги эти,—они, только они, как проклятые,—принесли ему столько зла».

Каким же приемом Иван даже кулака, загубленного условиями капитала, заставляет скорбеть о своей жадности? Культурную спасительность для мужиков он видит в мордобое. «Я не посмотрю, что ты мне отец,—говорит он Боголюбу,—выволоку на улицу да при всем народе так тебя нагайкой постегаю. Завтра я сгоню народ и заставлю, чтобы твое гнездо разобрали при мне по камню». Вообще, председатель совета Иван Акимов круто расправляется не только с рядовыми мужиками, в чем-либо оплошавшими, но и с членами совета. И ничего — народ как будто это одобряет и из уст в уста передает, что «Иван Акимов правильно говорит, что русскую харю, будь то барин или мужик, все равно для его же добра бить надо». «Чувствовалось, что и уважают его, и побаиваются, что замешкаешься,—затрещину здоровую получишь».

Очевидно, искать художественной правды в повести не приходится. Мужик — собственник; этим определяется весь склад его души, и просто выдуманы герои «Желтого Дьявола», говорящие книжным языком...

А жаль. В «Очерках деревенской жизни» Сивачев показал, что он умеет о ней писать в иных тонах и красках.

XII.

Сивачев ненавидит город, как дитя города. Хотя крупные произведения посвящены им деревне, но деревне он чужой; мелкого

собственника он рядит в идеи, несвойственные мужику. Пимен же Карпов исходит в своей ненависти всецело из интересов земли.

Это землероб всеми фибрами души. Для него «радость слушать образную, громовую, пересыпанную меткими пословицами и прибаутками ядреную мужицкую речь». «Встретишь, разыщешь в копоти и вьюжной мгле страдные мужицкие глаза,—каким немеркнущим радостным советом засветит тебе оттуда прямо в`сердце?» «Все это земля—земляной дух. Вовсе не наживы и сытости, как ворон крови, искал мужик в земле. Вовсе не дрожит он над добытыми кровным потом зернами, как скряга над золотом, Земля—это магический круг для мужицкой души, песня его затаенная, светлый град, царство божие. За нее он на все пойдет». («Трубный голос» Рассказы.—«Подспудные ключи»).

Во имя этого он и ненавидит город. «О, город, логовище двуногих, проклятье тебе!—Проклятье, проклятье тебе, палач радости, красоты и солнца!»—пишет он в «Пламени».—«Проклятье тебе, скопище человекодавов, кровопийц и костоглотов». Это «чудовище», «вампир», «смрадный, нерушимый, как судьба». Хлеборобы поджигают город и в то время, как стелется дым от пожаров, уходят, поют «вольную лесную песню». — Это интеллигенция. «В этой книге,—комментирует Карпов «Пламень»—два мира: тот, что ведет Россию к величию и славе (русские хлеборобы), и тот, что ведет ее к гибели (инородцы-тунеядцы)... кто любит Россию, тот меня поймет». «Инородец» его не человек не русского происхождения, а интеллигент, представляющий город [1]).

«Я высказываюсь,—пишет Карпов—не от своего имени, а от имени всего крестьянства, с которым я кровно связан, и стараюсь отметить в печати то настроение, которое господствует в деревне». Хотя корень зла не в одном интеллигенте, однако, народ считает его «главным виновником». Крестьяне, сыны земли, ненавидят города. Лишь страх голодной смерти гонит их в эти омуты. Для интеллигентов же город и рынки жизни—родная стихия; они чувствуют себя здесь господами положения: можно жить, не работая, а, главное, делая вид, что нужны человечеству, тогда как в деревне сделать этого нельзя. Как воронье на добычу,—летят интеллигенты в город, на костях других устраивать собственное благополучие, и народ, добывающий хлеб потом, давно окрестил их «вороньем и пауками». «Говорю «интеллигентов», ибо народ не видит никакой разницы между торговцем и газетчиком, между бюрократом и по-

---

[1]) «Пламень». Из жизни и веры хлеборобов. Птб. Изд. «Союз» 1914 г. См. книгу «Проклятье и смерть городу».

литическим деятелем, между врачем, инженером, адвокатом и помещиком. Все они втайне желают одного»... Ведь «демократы и интеллигенты ничуть не лучше кулаков и угнетателей». «А еще удивляются, что народ смешал интеллигентов с барами, «свободолюбцев» с черносотенцами».

Это-народ, единственный в мире, который дает такое множество самоучек. Неспособных учеников—«какими в гимназиях хоть пруд пруди»—в сельских школах нет. «Все даровиты». Но все они вынуждены гаснуть в нищете; дальше школы двинуться некуда: «везде места заняты интеллигентами».

Уже чуют интеллигенты, что придет хозяин и сметет с лица земли мусор; знают они, что от прежнего сосуда—народолюбивой интеллигенции—остались лишь осколки. Чтобы не было страшно от конца, они, то и дело, повторяют слова «хам», «погромщик», «труп»; предрекают конец народу, тогда как сами они на краю гибели... Пусть же называют народ чем угодно. Но пусть помнят, что народ им не сдастся. «Вы мало выиграете, если будете заграждать доступ крестьянам к верху жизни. Придет время, когда они сломят ваше упорство, и вы ляжете костьми под их ногами». «Заводь народных сил еще тиха, старая плотина интеллигенции еще держится, но уже сочатся сквозь нее свежие струи Потока-Богатыря. Преграды рухнут, и великая сила потока зальет всех и вся. Сил народа пока никто не знает. Если так, то страшно же будет его пробуждение, и земля содрогнется, когда он вступит в борьбу со всеми, кто станет на его историческом пути. Горе гробам повапленным».

«Народ» это—крестьяне, гроба повапленные—города. Бросайте их, идите к земле,—снисходит Карпов к интеллигентам—создайте культуру в деревне, сделайте так, чтобы мужик пользовался ею, а не вы только.

В самом деле, почему бы не покинуть им «город», не пойти за плугом, одновременно уча народ! «Ведь в глубине души вы сознаете, для кого существуют университеты, театры, храмы искусства, для кого пишутся картины, издаются журналы и книги... Для вас же. Но вы глухи, вы свысока смотрите на крестьянина... Вот в чем трагедия. Вот почему народ всех этих материалистов, нигилистов, революционеров смешивает с барами» [1]).

Жизнь возможна лишь на земле. Но они отравлены смрадом молоха-города.

---

[1]) «Говор Зорь», Птб. 1909 г.

Вот идеи всех произведений Карпова. В рассказе «Подспудные ключи», изданном уже ныне, в сельской читальне идет такой разговор. Мужики просят «читаря» рассказать про В. И. Ленина.

— А все же больше за народ тянет он, кажись,—говорит читарь.—Оно, правда, рабочие больше ему по душе, чем пахари. Потому много среди нас кулаков развелось.

— Да и среди рабочих буржуев не мало,—язвят в ответ.— В дворцы вон, пишут, переехали на жительство, рабочие-то. Электричество у них, люстры. А у нас вишь?

— А в дворцах-то холод ежели, не больно рад будешь и дворцам...

Хохот. («Трубный Голос». Изд Гос. Изд.).

«Как-то читал я в газете про пролеткульты,—читаете в том же «Трубном Голосе»—Знаю, кто там теперь примазался под видом пролетариев и крестьян: интеллигенты. Ну, да это с полбеды, а беда в том, что деревню забыли, деревенскую даровитую молодежь ни в какие пролеткульты не только не приглашают, но даже чураются,—по всему видно». Интеллигенты у Карпова держат себя с видом господ даже в 1918—19 годах, даже в имениях, которые им принадлежали.

За зиму у мужиков с голодухи животы пораспучило,—от ветру валятся. А у Зинки-интеллигентки амбары от хлеба ломятся. Ну, и решили поделить. «Не грабежом,—боже упаси,—а законом». Но Зинка-курсистка с крыльца сбегает, каблучком топает.

— Плюю я на комитет ваш. Я за вас же боролась.

Зинка клялась, что «все будут перевешаны». И чем дальше шли дела, тем больше Зинка кляла, грозила каторгой, нагайками. Собиралась палить в мужиков из пистолета... («Бесенок»).

Мудрено ли, если крестьяне, как были, так и остались, около навоза; а то и похуже.

— Ты знал Миронова Ваню? Помнишь, как он рисовал? Карандашем одним! Без всяких указок! А где он теперь? Хлевы чистит, как и мы. Да мало ли. А Сеню скрипача знаешь из Любимовки? А где теперь Семен? В навозе копается, копоть глотает.

Первого Октября Карпову мало: он исходил из города. Ему нужен второй Октябрь, — мужицкий, — который, не дав пощады городу, уничтожил бы интеллигенцию начисто.

XIII.

Если Карпов—мужик, Сивачев—пролетарий-неудачник, то в Надежде Санжарь сидит бродяга, босяк по духу.

И она, как Сивачев, дитя города, чувствует себя в его путах и оковах. И ее преследует культура, и вызов, брошенный интеллигенции, в среде которой пропадает ее сила, ее «первый и последний крик».

Героиня Санжарь в обществе культурных людей не может не «сорваться», не сделать что-либо, отвечающее ее «натуре», но что шокирует, раздражает это общество. «Что на меня нашло?— рассказывает Анна, поступившая бонной в интеллигентную семью.— Глядя на их выхоленные тела в английских костюмах, вычурных прическах и дорогих кружевных платьях, мне вдруг захотелось врезаться в эту изящную, беспечную, очень легкомысленнаю кучку людей с моим некрасивым, грубым, страшным детством». Она рассказывает им о том, как солдаты ходили к ее матери-проститутке, как она выкрикивала им слышанное ею от взрослых:

— Брось, сукин сын, брось мамку. Брось, стерва, говорю тебе.

Так на всех местах. Ей надоело кричать в подушку. И вот результат: места не для нее, она не может удержать их за собой.

Конечно, страх, принижающий страх за завтрашний день преследует ее. Но она не в силах бороться с самой собой, с анархией мысли и чувств. Культурный человек с его сытостью воплотился в жуткий образ для нее. Вся философия ее здесь. «Выродки, насильники, звери, плевать я на вас хотела! Анна без боя не сдастся,—так и знайте», вот ее формула.

И для нее город—«сфинкс». Боже милосердный,—восклицает она,—есть ли что-нибудь хуже и нелепей Петербурга? Кажется, «гадостью и нелепостью обрызганы все его дома и их обитатели». «Мне хочется ругаться. Ах, не понимаю я нелепости больших городов, не понимаю». «Неужели нельзя иначе? Да будь они трижды прокляты тогда!»

Правда, в городах есть красота. Но ее питает кровь; построена она на костях, со всех сторон обрызгана слезами, и пусть кто может гордится этим, «а я не могу закрыть мои глаза, заткнуть уши, заглушить крик негодования». И чудится ей, люди «опомнятся, забракуют подлые ямы и свою красоту, величие науки».

Санжарь не мечтает уже о деревне. По строю дум и чувств, она чужда мужицкой идиллии. Какая-то сказка грезится ее сердцу. и нужна ей эта сказка все для того же, чтобы свести счеты с интеллигенцией.

Точно проклятье висит над Анной. С детства тянулась она к «образованным, чистым интеллигентным людям», ибо окружали ее люди темные, «ненастоящие». «Настоящие люди для меня

были вы,—пишет она,—живущие в чистых домах, носящие чистое платье, говорящие таким красивым, благородным языком. Я тянулась к вам. За эти порывы, за веру в интеллигента вы меня жестоко наказали, и я никогда не прощу вам страшного разочарования в вас, как в людях. И верится мне, что нелепость должна кончиться. Да, да, я верю, люди прямо во всеуслышанье будут говорить: такой-то доктор, адвокат, артист, профессор, инженер, писатель носит чистое, красивое платье, живет в чистой красивой обстановке, понимает в музыке, литературе и искусствах, говорит хорошие, благородные слова и живет свинья-свиньей». Да, да, она верит: «интеллигентам» не только дадут настоящие для них названия, но и обращаться с ними будут так, как того заслуживают («Записки Анны»).

Это одна сторона. А вот другая. «Я рада, что я крестьянка и подлинная дочь моего отца, до смешного похожая на него и внешностью, и чертами характера». Отца своего Анна помнит, как человека, который за «нехорошие дела» сидел в тюрьме. Но все же гордится им,—тем, чем не может похвалиться интеллигент: она дочь народа. Как и Сивачев, как и Карпов, она уверена: настоящая интеллигенция—это они. Когда без всяких подспорий приходится доходить до всего самому, пробиваться собственным путем,—говорит Санжарь,—конечно, и опыт будет особенный, расширяющий жизненное творчество. В «такой самоучености» видится ей «как бы знамение нашего времени». «Человек настолько в нас созрел, настолько вырос, что ломится из нас наперекор всем нашим правилам, валит в обход всего, что на дороге и мешает, шагает также и через то, куда вход не для каждаго открыт, и несет, несет свою живую душу, свое человечье на вольный воздух. Так пробилась я, так будут пробиваться и другие. И это не контрабанда, не уродливая случайность. Опыт самоучек необходим. Самоучки это вольные резведчики, ищущие на свой страх и риск, смело идущие в обход установившегося, бьющие неустанную тревогу, мешающие людям в их установившемся закостенеть. Самоучки это непрошенные, не назначенные ревизоры. Вот почему людям выслуги, людям прошенным назначенным, они кажутся так неприятны, ненужны. Вот почему нас, самоучек, почти всегда встречают с суровостью истинно прокурорской. Но наши судьи не всегда правы. Они не видят, не понимают, что мы идем не по своей воле, что на такой «обход», на такую «ревизию» нас толкает сама жизнь».

Не все «разведки» их ценны. Санжарь знает: «часто открывают они давно открытые истины», но за то вот что: «самоучки

несут на себе также и роль того сказочного правдивого дурака, который бесстрашно орет королям в лицо, что они, короли, голы. В непосредственности есть своя красота, своя большая сила» («Книга о человеке»).

XIV.

Итак, различна социальная канва наших авторов, но строй симпатий и антипатий их совпадает. Для каждого из них «цвет русской интеллигенции—банкроты духа». Исходя из личных отношений, каждый пишет обвинительный акт, и обвинения злы, беря за одну скобку и революционера, и либерала, и дамочку-кокетку... Великодушный Федька знает, что есть «долг», и требует уплаты, не допуская послаблений.

Потерпев неудачу в попытке попасть в верхи, каждый выпячивает свое низовое. Но что могут противопоставить Сивачев, Карпов, Санжарь? В то время, как рабочий индустриальный противопоставляет свою печать, свое классовое лицо, наши беллетристы не могут выйти из этой пустой «розни интеллигенции и народа». Оттого и злоба их лишена идейной базы. Будь Карповы—единицы, в этом опасности бы не было. Но тонок у нас слой фабричной интеллигенции; толст слой, из котораго пришли к нам Сивачевы... Вот почему так пророчески прав покойный Блок.

ГЛАВА IV.

В глубине России.

Н. Степной, Григорий Чудов, Г. Устинов, П. Дорохов, Ф. Ильин-Морозов.

I.

Если в Петербурге, в Москве трудно было найти орган, который напечатал бы рассказ самоучки, издательство, которое выпустило бы его книгу, то в провинции—глухой и безгласной—простецу, перед которым уже раздвигались горизонты, причалить со своей ладьей было еще труднее. Однако, даже серый фон Пошехонья не убил народного писательства.

Уже перед 1905 годом в городах и селах мелькают перед нами фигуры писателей из народа. Какие надежды могли питать они в углах, где и показать некому свое произведение? Тем не менее пролагали какой-то путь; в общем, большая часть материала получена мною из провинции.

«Думаю, не в диковинку вам получать рассказы, подобные моим,—писал крестьянин из Кубанской области,—от лиц далеких и неизвестных. Но вас-то мы, неизвестные, знаем, читая ваши статьи в журналах. О себе скажу кратко: я учился в церковной школе, живу в станице Кубанской, много ходил ходоком по окраинам России, ища места для переселения, об этом напечатал пять очерков в «Откликах Кавказа», которые захотелось послать вам». «Я поступил в магазин приказчиком,—писал другой.—О, литература! Ты чуть не стала виновницей моей смерти. Сказать вам на ухо, я дважды подходил к полотну железной дороги, прощался с этой пошлой противной жизнью и ложился на рельсы головой. Но та же любовь к литературе победила эти замыслы. И только теперь я пришел в себя и пишу вам». «Жизнь загнала меня в Закаспийский край,—писал третий.—Но я не унываю. Вся жизнь моя в литературе. Литература—жизнь моя». «Я—рабочий, принужден жить только на восемь рублей,—писали мне и с Севера,—посылаемые вам марки для ответа лишают меня хлеба на несколько дней».

II.

Печатались в газетах; но рассказик газетный и по размеру, и по форме—фельетон. Печатались ли наши беллетристы помимо газет? И таких произведений не мало.

Вот, например, орган «Судоходец», выходивший в Нижнем-Новгороде. Читаете подписи: «Точка», «Фонарь», «Отверженный», «Homo», «Колокол», «Фанвич», не подозревая, что это все выходцы из низов. Здесь начал свою карьеру Ив. Касаткин, автор «Лесной были», некоторые другие самоучки. И «Судоходец» не исключение. Таковы были и «Порывы»... Беллетристы наши облепляли их, и—каковы бы ни были самые задачи органа—выростал беллетристический отдел. Здесь такой беллетрист—пришлец со стороны. Но—наряду с этим—те же попытки, что в Петрограде и Москве,—альманахи писателей из народа.

«Алтайский Альманах» дала Сибирь, «Степь» и «Серый труд»—Урал, «Под небом Туркестана»—Туркестан, «Волжские утесы», «Нижегородский Альманах»,—приволжский край, «Пробуждение»—внутренняя Россия, и вот десятки беллетристов из рабочих и крестьян: Павел Поршаков, Ширяевец, С. Ляликов, Н. Рогожин, Е. Шаров, С. Сафонов, Е. Третьяков, А. Павлов, А. Ершов, М. Одинокий, Д. Погорелов, Мытарь и т. д. Альманахи, выраставшие до 15—18 листов, давали возможность помещать крупные вещи.

Но альманахи—первый шаг. Вслед за ними и авторы сами, и кружки провинциалов делают попытки издания книг. Не один из них имеет сборники своих рассказов, изданных в провинции. Таковы Н. Афиногенов, инициатор оренбургских альманахов, Григорий Чудов, нижегородец, сотрудник «Судоходца», Георгий Устинов, ушедший в газету, Ф. Ильин-Морозов, П. Дорохов. Иллюстрируем же и уголки провинциального писательства.

Мы знаем, что с тех пор, как «писатель из народа» получил право на внимание, к нему потянулись те, что умеют писать «чаво», «спинжак» и т. д., но на самом деле суть мещане, далекие от народной жизни. Но среди авторов, о которых у нас речь, нет ни одного лже-народного. Вот, что влечет к ним наше внимание.

III.

Н. Степной.

Н. Афиногеновым (Степным) изданы «Степные сказания» в Оренбурге, «Сказки степи» в Самаре, роман «Пролетарий» (первая часть в Юрьеве, вторая и третья—в Самаре), романы «Семья»